
Валерий БОЧКОВ

ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ ЛАТГАЛИИ

Рассказ

Латгалия сверху похожа на лоскутный ковер. Такой ее видят ласточки и стрижи в звонкие летние дни: в зеленые клеверные луга и оливковые поля люцерны вшиты строгие квадраты хуторских наделов, в малахите сосновых лесов сияют цыганской парчой заплатки озер, ясной лентой петляет с востока на запад изумрудная Даугава.

Если мне когда-нибудь удастся стать старым, то я вернусь сюда. Вернусь без карты, без компаса — буду спать на берегу озера или ручья, а утром, взобравшись на ближайший холм и оглядев округу, буду решать, какая из далей манит меня сегодня.

От солнца моя кожа станет медной, а волосы выгорят в белое. Небо будет синим, луга бескрайними, леса дремучими. В полях, где сейчас спеет рожь, я буду собирать ржавые гильзы и белые кости. Свои находки буду бережно складывать в старое солдатское одеяло, серое, из грубой шерсти. То самое, с трафаретной надписью «Из санчасти не выносить».

* * *

Дом, где я родился, дальним своим боком упирался в стену тюрьмы. Тюрьма напминала старую фабрику: шершавый темно-рыжий кирпич, щели окон с решеткой, в которые заключенные просовывали ладони, когда шел дождь. Толстая кирпичная труба курилась невинным дымком, мало отличавшимся от наших июльских облаков. Раз в три месяца труба раздражалась густым черным дымом, и тогда жирная копоть оседала на тротуарах и мостовых, на листьях и траве. Впрочем, зелени в нашем Йенс-пилсе было всего ничего — дохлый парк с дюжиной хворых лип вокруг клумбы с георгинами, среди которых скучал гипсовый солдат, выкрашенный серебряной краской. Раньше на его месте стоял латышский барон. Его имя — Родригас Латгальский, замазанное цементом, при желании можно было разобрать на гранитном постаменте. Замок барона сгорел за три месяца до моего рождения. Тогда там размещался наш местный Дворец культуры с буфетом, библиотекой и кинотеатром. В большом, «дубовом», зале устраивали городские торжества — отмечали годовщину революции и День Победы, встречали Новый год — сначала утренник для малышни, а вечером, вокруг той же елки, гульбище для всех остальных. Свадьбу моих родителей праздновали тоже в «дубовом» зале. Именно той ночью замок и сгорел.

Валерий Бочков родился в 1956 году, автор одиннадцати книг, лауреат «Русской премии» за роман «К югу от Вирджинии» (2014). Роман «Харон» стал победителем премии имени Эрнеста Хемингуэя (2016). Сборник рассказов «Брайтон блюз» получил звание «Книга года» немецкого издательства «Za-Za Verlag» (2013). Автор персональной серии «Опасные игры» (М.: ЭКСМО, с 2014). Публикуется в ведущих литературных журналах.

Мне едва исполнилось полтора, когда отец исчез. После мать плела какие-то байки и показывала фотографии, которые впоследствии оказались открытками. Думаю, врала она в первую очередь себе, я был лишь случайной частью аудитории. Тонкий шелк черного халата, тощее запястье, сигарета, аристократичность жеста неясного происхождения — все это сквозь дым, точно полузабытый кадр из старого кино с давно умершими актерами, — да еще сладковатый дух портвейна ее поцелуев с примесью горькой кофоти: то ли из тюремной трубы, то ли из той свадебной ночи.

Детство мое прошло на лестничных пролетах нашего подъезда. Ключ мне не доверялся сперва по малолетству, после по привычке. Всякий раз, ожидая мать, я опасался, что она не придет и исчезнет бесследно, как исчез отец. Иногда меня пускала к себе соседка по лестничной клетке Маркова, коренастая старуха с перебитым носом и запахом лука. Луком воняло все ее жилище — комната, перегороженная платяным шкафом, за которым обитал ее сын Толик, наш городской дурачок. Но и Толик Марков, и луковая вонь были все-таки лучше лестничного томления. Тем более соседка Маркова разрешала мне листать ее журналы — дореволюционную «Ниву», две стопки которой хранились под кухонным столом.

Журнал, судя по надписи на обложке, предназначался для семейного чтения. Эти семьи вряд ли проживали в городе Йенспилс — половина нашего населения сидела в тюрьме, вторая охраняла ее. наших горожан, скорее всего, не заинтересовала бы история возведения собора в Реймсе с приложением чертежей и старинных гравюр или биография американского изобретателя Эдисона. Не говоря уже про миграцию китов или подборку стихов некоего Гейне, женоподобного немца с бантом на шее. Впрочем, стихи немец писал неплохие, хоть и занудные. Я не поклонник поэзии, мне гораздо больше нравились отрывки из рыцарских романов Вальтера Скотта или пиратские истории писателя Стивенсона. Тем более с бесподобно детальными иллюстрациями, на которых кропотливый художник во всех подробностях изобразил мушкетеры, мечи и кинжалы. Из журнала «Нива» я впервые узнал о подвесках королевы и замке Иф, о собаке Баскервиллей и капитане Немо, о том, как выжить на необитаемом острове и как при помощи электричества воскресить мертвеца.

Вместе с луковым духом в мою душу входило осознание, что мир — это не наш трехэтажный барак, не тюремная труба в моем окне, не гипсовый солдат в сквере. И не заколоченный навечно после пожара баронский замок. Вселенная не утыкается на севере в пустырь, заросший лопухами, и не заканчивается на юге Еврейским кладбищем. И что есть люди, которые не только копят на ковер, — и это лучшие из них, а остальные пьют водку, ругаются и бьют друг другу морду. Иногда, впрочем, и те и другие ездят на заводском «Икарусе» к озеру Лауке, на шашлыки. Такой пикник они называют «вылазкой на природу», где тоже матерятся, пьют водку и бьют друг другу морду.

В тринадцать лет, выбравшись через чердачное окно на крышу, я видел, как повесили человека. Эшафот стоял в углу тюремного двора. Моросил дождик, и деревянный настил стал темным и блестящим, как старое железо. Приговоренный, тощий, наголо бритый мужичок, не мог идти, его втащили по ступеням двое — Эдик Хрящ с третьего этажа и второй, кажется, с Красногвардейской. Палачом работал Люськин отец, дядя Слава. Люська жила на первом, и иногда мне удавалось подглядеть, как она раздевается. Тогда мне казалось невероятным везением, что она забывает до конца задернуть занавеску и долго бродит голая по комнате из угла в угол.

Дядя Слава принес деревянную лавку, что стояла у курилки — ржавой бочки, вокруг которой охрана травила анекдоты. Лавка шаталась, дядя Слава сложил газету, сунул под ножку. Потом залез на лавку и примерил петлю. Он не стал смазывать веревку мылом, как это делали палачи в романах Александра Дюма. У лавки пригово-

ренный попытался вырваться, Эдик пару раз ударил его в солнечное сплетение, и тот согнулся пополам.

Все случилось обыденно и как бы между прочим. Дядя Слава сапогом пнул лавку, мужичок повис, раздался хруст, точно кто-то делил вареную курицу. Третий охранник, который, кажется, с Красногвардейской, вытер ладони о галифе и достал сигареты. Угостил двух других. Все трое сгрудились, будто договаривались о чем-то тайном, прикурили, закрывая огонь спички ладонями. Хлопнула дверь, из караулки вышел доктор с зонтом. У доктора была смешная фамилия — Куцый — и дурацкие усы, как у Гитлера. Куцый поднялся на эшафот, сложил зонт и что-то сказал. Все четверо рассмеялись.

На той же крыше спустя полгода я, как выразился бы писатель Вальтер Скотт, потерял невинность. Меня совратила тюремная повариха. Жила она этажом выше, прямо над нами, звали ее Линда. Рыжая Линда.

Начался май, прошли бесконечные праздники, солидарность трудящихся похмельно перетекла в юбилей победы. Кто-то утонул в Лауке, кого-то пырнули ножом на танцах. Пацаны ездили в Елгаву бить латышей. Мочить лабусов. Юрке Скокову выбили два передних зуба, еще троих забрали в милицию, но сразу отпустили, поскольку менты там — все наши, русские.

Тюремный репродуктор три дня хрипел военные песни и наконец заткнулся. В обморочной тишине по синему небу неслись расторопные облака. Такие белые, они проплывали так низко, что, лежа на крыше, казалось, что дом вот-вот всплывет в одну из этих сахарных гор. А еще если лежать на спине и смотреть прямо вверх, смотреть долго и не отрываясь, то весь мир вдруг переворачивался. И вот уже не облака, а сам дом резвым фрегатом врзался в синеву, бесстрашно рассекая несущиеся нам навстречу коварные льдины. Это была настоящая оптическая иллюзия самого высокого класса. Голова кружилась, исчезали крыша, дом, исчезали тюрьма и несуразный Йенспилс. Становилось немного жутко и весело.

Рыжая Линда появилась из чердачного окна. В белом поварском халате с плохо отмытыми пятнами ржавого цвета и в домашних тапках с помпонами. Под мышкой она сжимала скатанное в трубу тощее солдатское одеяло. Громяхая кровлей, повариха протопала мимо, не заметив меня. Она тоже смотрела на облака. Расположилась у трубы, вынула пачку «Примы» и спички. Расстелила одеяло, на мышине сукне белела трафаретная надпись «Из санчасти не выносить».

Линда скинула тапки, расстегнула халат.

Я вжался спиной в жесть крыши, как камбала в песок, я почти перестал дышать. До Линды было всего шагов пятнадцать. Я видел все. Ее спина и плечи были усыпаны конопущками, а волосы на лобке оказались еще рыжее, чем на голове. Она села, лениво потянулась, закинув за голову большие белые руки. Вместе с руками поднялись две полных груди, округлых, с бледно-розовыми сосками. Два мраморных шара — я тарасился до рези в глазах, не моргая. Сердце мое колотилось в кровельную жесть. Стук, усиленный мембраной крыши, мне казалось, разносился до самых окраин Йенспилса, подобно колокольному набату.

Линда взлохматила волосы, провела ладонями под мышками, понюхала пальцы. Потом зачем-то принялась мять живот и бока, прихватывая жирные складки. Закончив, она закурила, сплюнула табачную крошку и, растянувшись на одеяле, раскинула руки крестом. До меня долетел кислый запах «Примы». Я сглотнул, во рту пересохло. Внизу, наверное у Сильверстовых, зарыдал младенец. Соседка Маркова говорила, что у ребенка синдром Дауна, как у ее Толика. И что она-то уж в этих делах как-нибудь разбирается. В это время Линда выпустила в небо клуб дыма, выставила круглые коленки и медленно развела ноги. Золотистый пук на лобке вспыхнул в невинных лу-

чах майского солнца, точно клубок медной проволоки. Лицо мое пылало, вывернутую шею свело, я боялся пошевелиться.

Линда глубоко затянулась, выпустила дым. Выставив руку, ловким щелчком выстрелила окурком. Бычок, описав дугу, исчез за краем крыши. От пота моя рубашка прилипла к спине. Повариха зажмурилась, мне показалось — задремала. Об этом можно было только мечтать. Я осторожно вдохнул, звук вышел сиплый, с присвистом.

В «Ниве», в этом целомудренном учебнике жизни для семейного чтения, эротики касались деликатно, если не сказать — робко. Щекотливая тема возникала лишь в разделах живописи и скульптуры. Об этом журнал писал много, подробно растолковывал сюжеты картин, рассказывал про непростую жизнь живописцев и скульпторов. Но вот статуя Давида итальянского мастера Буонаротти цензуру не прошла, мраморные гениталии юноши строгий ретушер прикрыл фиговым листком. Плотоядный Рубенс был представлен скучными библейскими сюжетами, Тициан, Рембрандт и Гойя тоже выглядели занудными портретистами, изображавшими исключительно старух и нищих. Тогда, в тринадцать лет, моя осведомленность в сфере сексуальных отношений представляла собой коллаж из подсмотренного, подслушанного, невразумительного вранья старшеклассников да еще затертых серых фотокарточек, переснятых местными эротоманами из заграничных порнографических журналов.

Нет, повариха не заснула. Линда лежала с закрытыми глазами, одну руку она закинула за голову, другой поглаживала живот. Ее пальцы добрались до лобка, она сонно поскребла рыжие кудряшки и соскользнула вниз. Чертов младенец продолжал орать. Облака над нами плыли вертикально вверх, перпендикулярно крыше. Линда издала урчащий звук. Как кошка, лакомящаяся сметаной. Я осмелел, чуть приподнялся и вытянул шею, чтобы улучшить угол обзора. О да! — теперь мне стало видно все — ее ладонь, сжимавшую низ живота, пальцы с розовым лаком, синяк на ляжке и даже румянец, проступивший пятнами на шее и груди. Ее большое белое тело покачивалось в плавном дремотном ритме, мне стало казаться, что я слышу эту мелодию. Тогда я был дурак и невежда, сегодня могу уверенно сказать — то был Равель. Шаманское бормотание барабанов, меланхолия алчных скрипок, сладострастный шепот кларнетов — чистая ворожба! Волны, манящие волны плавно катили одна за другой. Малиновый сироп — повариха качалась на тягучих волнах, плыла в медовом трансе. Ее царское тело, бесстыжее, словно выставленное напоказ, сочилось похотью. В жизни я не видел ничего упоительней!

По моему виску в ухо сползла щекотная капля. Зуд проскользнул в гортань, безумно зачекотало с носу. Беспомощно захлопнув ладонью рот и зажав обе ноздри, я зажмурился и чихнул.

Чих вышел от души — крепкий и звонкий, как рык бодрого льва.

Земная ось заскрежетала, мир остановился. Болеро оборвалось на полуноте. Эхо от моего чиха еще улетало в синюю бездну неба, а рыжая Линда уже стояла на четвереньках. Прикрывая локтем грудь, она пыталась дотянуться до халата. Ее глаза вперились в меня, испуг перешел в удивление, удивление сменилось яростью.

— Маука! Дырса сука! — повариха угрожающе понизила голос и перешла на русский: — Ах ты... поганец! Паскудник!

Я съежился. Повариха выдала цветастую тюремную тираду, из которой я смутно понял, что мне грозит кастрация. Латышский акцент делал речь Линды еще страшней: таким манером в фильмах про войну говорили фашисты — эсэсовцы и гестаповцы в черных мундирах, которых по традиции у нас играли прибалтийские актеры.

— Дрочило-мученик! Шпынь! Подглядывать взялся, с... недое...

— Не подглядывал я, — мне удалось выдать.

— Айзвериес! — рывкнула она по-латышски. — Чего ты там бормотаешь?! А ну поди сюда!

Я поднялся. Глядя в сторону, поплелся к ней.

Стоя на коленях, Линда застегивала халат. Подняла злое лицо и усмехнулась.

— Да ты ж с нашего дома! — повариха все-таки узнала меня. — Ты это... Сын Катьки-буфетчицы...

Я обреченно кивнул.

— Вот мамка тебя выпорет! Ремнем! — кровожадно пообещала повариха. — До мяса! Жаль папки нет — тот бы просто голову оторвал!

— В Антарктиде он. На станции.

— Ага! На станции! — повариха развеселилась.

Я насупился.

— Сбежал, — буркнул. — Знаю. Врет мамаша про Антарктиду.

Повариха хмыкнула, хотела что-то сказать, но промолчала.

— Да и мамаша не выпорет, — расхрабрился я. — Ее дома почти не бывает. А когда дома — пьяная. Не выпорет. Нет.

Линда прищурилась, разглядывая меня, розовым ногтем почесала нос. Нос у нее тоже был в конопушках. А вот глаза оказались почти бирюзовые. Голубые в зелень. Сережки у моей мамы были такие — с бирюзой.

— А зачем на крыше? — спросила.

— Никого нет. Никто не лезет. Можно придумывать...

— Чего придумывать?

— Ну... — я растерялся. — Всякое можно придумывать... Про пиратские сокровища, про рыцарей можно... Знаете, какие истории бывают! Про мушкетеров, про индейцев! Или вот — офигенная история! Жил один моряк, кажется, в Марселе...

— Где?

— Ну, во Франции, в общем. У него была невеста — Мерседес звали. Красивая — жуть!

— Ага! Видать та еще гусыня!

— Ну да! Так вот один мужик решил эту Мерседес отбить у моряка. Он написал в полицию донос...

— Вот дупель!

— Не перебивайте, пожалуйста! Моряка, значит, арестовали и посадили в тюрьму. Пожизненно...

— Ну твари — на всю железку! Выходит, один х..., что Франция, что...

— Но не в такую, как наша, — я мотнул головой в сторону тюремной трубы. — А в замке, что на острове Иф.

— Вроде Соловков...

— Там, на острове Иф, моряк познакомился с аббатом...

— Это кто?

— Ну вроде попа.

— Ерша гонишь, малец! У них попов не сажают!

— Ничего не гоню! Да и неважно, не в том дело! Короче, аббат этот рассказал моряку про сокровища, которые он спрятал...

— Ну и баклан, поп этот!

— Да он старый совсем! Рассказал и помер!

— Во облом! — повариха явно расстроилась.

— Не — все классно вышло! Моряк вместо мертвого аббата лег, его зашили в мешок и бросили со скалы в море...

— Ну вертухаи, ну лопухи! А как же он, моряк-то? В мешке? Зашитый?

— Ну он же моряк! Он под водой пять минут, наверное, может просидеть! Он мешок разрезал...

— Фартово! А сокровища?

— Нашел! И вернулся в Марсель! Но под личиной графа Монте-Кристо. Чтоб никто его не узнал.

— Ясно! Ксиву слепил новую, короче.

— Ага. Вроде того, — я решил в подробности не вдаваться, тем более что в урезанном журнальном изложении вопрос паспорта и прописки графа не обсуждался.

— Ну вернулся, значит, в Марсель и отомстил всем, которые его предали. Только Мерседес пожалел, хоть она и женилась на том гаде...

— Замуж вышла, — поправила Линда и задумчиво добавила: — Пожалел, профуру. Любил, видать, крепко...

Мы замолчали. Линда стояла на коленях, задумчиво наклонив голову. На окраине города, где-то у Еврейского кладбища, забрехала собака. Ей ответила другая, хриплым басом. Я разглядывал свои драные сандалии из коричневого кожаменителя, облупившуюся краску крыши, трафаретную надпись на одеяле, все-таки вынесенном из санчасти. Скорее всего, самой Линдой. Она шмыгнула носом, сплюнула.

— Тебя как звать?

Я ответил.

— А лет сколько?

Я соврал.

Мы снова замолчали. Время остановилось. Потом Линда потрогала шею, точно у нее прихватило горло, откашлялась.

— Поди сюда, — тихо позвала повариха странным голосом, настороженным, что ли. — Ближе... Да, ближе. Не укушу...

Ухватив за ремень, она притянула меня. Звякнула пряжка. Ловко, одной рукой, Линда расстегнула две верхние пуговицы. Рывком, вместе с трусами, стянула до колен школьные портки. Сердце мое ухнуло в бездну. Напоследок успел подумать о позорных сатиновых трусах.

— Точно пятнадцать? — подняв лицо, спросила повариха.

Я пискнул что-то в ответ и в ужасе зажмурился. Больше всего я боялся сойти с ума или умереть от разрыва сердца.

Потом мы просто лежали. Лежали бок о бок, сцепив жаркие потные пальцы, и молча пялились в небо. Экстаз мой щенячий сменился тихой радостью с оттенком сладкой тоски — будто я уже умер и угодил в рай.

Линда свободной рукой нашарила свою «Приму». Закурила. Едкий табачный дым смешался с запахом ее тела — бабий пот и горькая корка ржаного хлеба. Так пахнет баня, если на камни плеснуть светлого пива. Пару раз, не выпуская сигарету из пальцев, она дала затянуться и мне. Я вдыхал дым осторожно, стараясь не закашляться.

Она начала говорить, рассказывать про себя. Глядя на облака, которые равнодушно ползли на расстоянии вытянутой руки. Ее монотонный тихий голос — наверное, это из-за акцента — показался мне каким-то таинственным, почти сказочным, будто со мной беседовала русалка или инопланетянка. Я молчал и слушал. Одновременно я ощущал, что со мной творится что-то неладное. Страшное и восхитительное чувство — мне хотелось рыдать и смеяться, хотелось прижаться к этой большой рыжей женщине, прижаться до боли. Вдавить себя в нее, слиться воедино с белым телом.

Линда родилась в Латгалии, на хуторе под Крустпилсом. У синего лесного озера, окруженного корабельными соснами. В ручье водились раки, а к концу июня поляна перед домом становилась красной от земляники. Когда Линде исполнилось одиннад-

цать, отец убил мать — зарубил топором. Отцу дали пятнадцать лет, девочку отправили к бабке в деревню под Резекне.

— Я тот год совсем не говорила. В школе не говорила, дома тоже молчала. В классе думали, что я чокнутая, — Линда тихо присвистнула, покрутив у виска указательным пальцем. — А мне плевать. Чокнутая. Даже хорошо.

Она замолчала. Достала из пачки сигарету, плоскую, точно сплюсненную.

— Дед мой, он поляк, — Линда сделала ударение на «о». — Старик тогда был... Сколько тогда? Семьдесят или так...

Она разминала сигарету, шуршал сухой табак. Тихим, безразличным голосом она рассказала, как дед изнасиловал ее, когда они ходили по грибы в соседний лес. Дело было в середине сентября, начиналось бабье лето, они набрали две корзины боровиков. Вечером дед принес ей кулек ирисок.

— Барбариски. Кисленькие, — Линда закурила, зажмурилась от дыма. — А другой ночью пришел опять.

Линда убежала от них.

У Плявиниса стоял цыганский табор, цыгане приняли ее, научили попрошайничать и воровать. Воровали по базарам и на рынках. Тырили из грузовиков и легковушек на бензозаправках. Линда быстро попала, ее отправили в Даугавпилс, в колонию для малолеток. Из ремесленных курсов она выбрала поварские. Другим вариантом было шитье.

К концу ее истории стало ясно, что я пропал окончательно. Не жалость и не сострадание, смутное новое чувство, которое распирало меня, вытеснило все остальное — здравый смысл в первую очередь. Я не просто согласился бы умереть за повариху, смерть за нее представлялась мне высшим наслаждением. Почти счастьем.

Вот так началось самое чудесное лето моей жизни. Истории о пламенной любви и возвышенных страстях из журнала для семейного чтения оказались правдой. Частью правды — «Нива» целомудренно скрывала главное. Пробел этот с охотой восполняла Линда.

Крыша стала нашим тайным раем — я имею в виду тот короткий фрагмент между яблоком и ангелом с горящим мечом. Сталкиваясь во дворе или на улице, мы даже не здоровались. Лишь обменивались загадочными улыбками. Линда приносила сигареты и солдатское одеяло, вонь сырой грубой шерсти пополам с дрянным табаком — эта комбинация и сейчас вызывает у меня эрекцию. Я выпрашивал у соседки Марковой журналы, мы валялись на колючем сукне и разглядывали картинки. Иногда я читал вслух. Выяснилось, что Линда по-русски читает, как второклассник. Не хочу говорить «невежественная», назовем это «культурной девственностью», моя Линда была как Чингачгук, как Дерсу Узала. Те тоже наверняка не знали, кто такой Шекспир или Бетховен. Думаю, именно моя доморощенная эрудиция и делала наши отношения гармоничными.

Конечно, не все так было празднично. Не все и не всегда. Иногда шел дождь, иногда она просто не приходила. Тогда я до ночи бродил по двору, сходил с ума и пялился в ее темное окно. Прятался в кустах чахлой рябины, среди ржавой арматуры детской площадки. Часто она возвращалась не одна. Желтый проем подъезда на миг освещал два черных силуэта, пружина скрипела, и дверь с треском закрывалась. Через минуту зажигалось ее окно, но скоро гасло и оно.

Я лежал на вытопанной траве, глотал слезы и колотил кулаками в убитую каменную глину детской площадки. Проклятая «Нива» оказалась права и тут: обратная сторона любви — ревность — была хуже пытки. Солнечные херувимы истекали кровью и гибли в малиновом закате.

Я бесновался. Придумывал изощренную месть, перебирал способы самоубийства. Репетировал страстные речи о любви и предательстве. Но на следующий день она появлялась в чердачном окне с одеялом под мышкой, как ни в чем не бывало бросала свое «Свейки!», и прежде чем я успевал молвить слово, она уже затыкала мне рот мокрым горячим поцелуем с привкусом кофе и дрянного табака.

Закончилось счастье внезапно — в конце августа. Изгнание из рая всегда застает врасплох — как смерть или рассвет. Три томительных дня на крыше, мучительных вдвойне, ведь надвигалась неумолимая школа, сентябрь и неизбежные дожди. К тому же всю прошлую неделю мы встречались почти каждый день.

Да, вот еще — накануне ночью мне приснилось, что я убил ее. Мою Линду. Она стояла на краю крыши и разглядывала горизонт. Я подкрался сзади и толкнул ее. Падая, она повернулась и сказала: «Ведь я твоя мать». И исчезла за краем крыши. Я услышал, как ее тело стукнулось об асфальт, но даже во сне у меня не хватило духу заглянуть вниз.

Проснувшись, я кинулся наверх. На чердаке еще спали голуби, я их распугал. Птицы носились между балок, поднимая пыль и грязь, хлопали крыльями. Паутина и перья лезли в рот и глаза. Почти на ощупь, закрыв ладонями лицо — чокнутые сизари шли на таран, как камикадзе, — я выбрался на крышу.

Солнце только вылезало из-за замка, кровельная жесь блестела от росы, как ртуть. Я поскользнулся и упал. Грохнулся со всего маху и в кровь разбил локоть. На карачках добрался до края крыши — я точно помнил, где Линда стояла. Заглянул вниз. На асфальте между мусорными баками и ржавым «запорожцем» Кузьмина лежало тело. Сломанное, точно свастика, оно лежало ничком — мне показалось, я даже разглядел вишневое пятно, выползшее на асфальт.

Выскочил из подъезда, обежал дом. Перед помойкой пыхтел мусоровоз. Два тощих зэка гремели баками. Одновременно они повернули ко мне коричневые, цвета копченой камбалы, лица. Один держал пустую консервную банку из-под тушенки и облизывал указательный палец. Я попятился, спрятался за угол дома. Прижался спиной к стене. Тарахтел мотор, гремело железо баков, зэки работали молча.

Наконец они уехали. Я подлетел к помойке, тела там не было. «Запорожец» стоял на месте, я задрал голову — дом мне показался высоченной башней, небоскребом. За чем-то бросился к бакам. Срывал мятые крышки, лез в вонючее нутро. Потом ползал на коленях, пытаюсь разглядеть на асфальте кровь. Ничего, кроме зловонной жижи, вытекшей из баков.

Как оказался у ее двери — не помню. Давил до боли в кнопку звонка. Звонок истерично гремел в пустой квартире. Потом я расслышал шаги. Прижал ухо к липкой коричневой краске. Звякнул замок. Дверь приоткрылась. В щель, перечеркнутую дверной цепочкой, я увидел кусок темного коридора и маленькую старуху, почти карлицу. Я ее не знал, в жизни не встречал.

— Кого? — карлица боком наклонила голову, стараясь получше меня разглядеть.

Я повторил. Она нерешительно открыла,пустила меня.

— Где она?

Карлица кивнула на приоткрытую дверь в конце коридора. Комната оказалось пустой до боли — окно, стол, стул. В углу — железная кровать с панцирной сеткой. На решетчатой спинке кровати, крашенной серебрянкой и похожей на кладбищенскую ограду, висело солдатское одеяло. Все — больше ничего.

Нет — вру. Еще был запах. Тот самый, ее запах. Я бережно втянул воздух, вдохнул, впусив в себя жалкие остатки Линды. Старуха толком ничего не знала. Плела что-то про город Сигулды, про какого-то Юрика. Ухмылялась. Мне даже показалось, что ей было известно про нас и про крышу.

— А что, может, и возьмут ее, — карлица снизу заглядывала мне в глаза. — В привокзальный-то. Коли по протекции.

Я снова и снова перечитывал трафарет «Из санчасти не выносить». Надпись постепенно приобретала некий новый смысл — тайный, который мне вот-вот должен был открыться. Карлица коготками царапнула мою ладонь, я вздрогнул и отдернул руку.

— Поранился, гляди-ка...

Рукав рубахи пропитался кровью и засох. Я посмотрел на ладони, точно видел их впервые.

— Надо промыть, а то заражение крови будет. Перекистью промыть ранку.

Эту «ранку» она произнесла как-то сладенько и похабно. Так, должно быть, монашки сплетничают о прелюбодеяниях мирян. Карлица неожиданно цепко ухватила меня за запястье. Я вяло потянул руку, старушонка оказалась на удивление хваткой.

— Ну-ка, ну-ка, — потянула она меня из комнаты. — Ну-ка пошли!

И тут меня осенило. Господи — как все просто и логично! От неожиданного озарения я застыл: Линда и есть карлица! Она превратилась в карлицу, чтобы проверить меня.

— Куда пошли? — пробормотал я. — На крышу?

— Зачем на крышу? — она захихикала, показав мелкие, какие-то рыбки зубы.

Подошла вплотную, ее макушка едва доставала мне до подбородка. Сальные волосы мышинового цвета были стянуты в тугую дулю на затылке. Карлица расстегнула ворот вязаной кофты, потом еще две пуговицы. Я увидел застиранные кукольные кружева и белую кожу. Старуха сунула мою безвольную кисть себе за пазуху. Ладонь наполнилась теплым тестом. Я хотел закрыть глаза и не смог.

Что-то происходило с окном, вернее, со светом. Свет стал ярко-желтым, как кожура лимона — как она называется — цедра? Вот тоже еще идиотское слово — цедра! Тут только до меня дошло, что не свет, а воздух превратился в лимонную гадость. Цедра лезла в глаза, в рот, в ноздри. Я разевал рот, но вдохнуть не мог — цедра забила горло. Я задыхался.

* * *

Из больницы я сбежал на четвертый день, как только жар спал.

Температура доходила до сорока, санитарка говорила, что я бредил. Еще говорила про какой-то горловой спазм. Что еще бы чуть-чуть — и все. Утром приходила мама, принесла мне кулек барбарисовых ирисок. Да-да, именно барбарисовых! Понурая, как беженка, она молча сидела на конце кровати, там, где на одеяле белела надпись «Из санчасти не выносить». Морщась, терла пальцами виски. От ее взгляда хотелось удавиться. Напоследок, задержав дыхание, ткнулась сухими губами мне в лоб.

До Сигулды я добрался на молоковозе. Латыш пустил меня в кабину и всю дорогу молчал. В кузове гремели пустые бидоны. Я тоже молчал. Шофер высадил меня на окраине, у маслокомбината. Я спросил, где железнодорожный вокзал, он махнул в сторону каких-то развалин. Только тогда я заметил, что у латыша нет большого пальца, а на его месте торчит розовая шишка.

Привокзальный ресторан открывался только в пять. Буфетчица сонно пожала плечами и снова уткнулась в книжку. Круглые часы над бутылками показывали четверть второго. В зале ожидания сидел сухой седой старик, похожий на какого-то великого русского писателя. У нас в школе они висели по стене, в рамках, под стеклом. Но точно не Достоевский и не Толстой. Наверное, Салтыков-Щедрин. Старик, в белой сорочке и военных сапогах, сидел прямо и не отрываясь пялился в здоровенную

картину напротив. То была копия суриковского «Стеньки Разина». В лепном бронзовом багете картина едва вмещалась на вокзальную стену и наверняка выглядела не хуже оригинала. Художник — не Суриков, копиист, добавил атаманову лицу страсти, разбойник у него стал похож на злого усатого кота. Скучные гребцы с физиономиями евнухов явно проигрывали рядом.

Я выскочил на пустую платформу. Август напоследок жарил на всю катушку. Кисло пахло теплой сталью. Спрыгнул на путь. Надранные рельсы сияли, точно лезвия, и уходили в мутное марево. Причем в обоих направлениях. Надрывно звенели кузнички. Воняло шпалами. Где-то варили смолу. Долетел голос — кто-то пел, я прислушался. Из зала ожидания донесся красивый тенор. Усиленный высоким потолком, тенор звучал все громче и громче. Старик пел про острогрудые челны.

Ресторан открылся, но ни официантки — две одинаково стриженные тетки и неразличимые, как близнецы, ни администраторша — толстуха, похожая на гуся, ничего про Линду не знали.

— Может, она в «Дзинтарсе»? — предположил гусь. — Или в «Охотнике»?

— Не, не «Охотник»! Нет-нет! — затрещали близнецы одинаковыми голосами, точно их самих приглашали туда работать. — «Охотник» — шалман!

В «Дзинтарсе», роскошном кабаке с белыми колоннами и хрустальной люстрой, никто новой поварихи не нанимал. «Охотник» оказался стекляшкой, он располагался у начала канатной дороги и действительно был настоящим шалманом. В табачном дыму, который пластами плыл над столами, с грацией снулой рыбы перемещалась тощая официантка в черной мини-юбке и с подносом, заставленным в три этажа блюдами и тарелками. Она, не дослушав меня, кивнула в сторону занавески. Я протиснулся меж столов, стараясь не потревожить публику — в основном мужчин преступного вида. За дверью с таинственной табличкой «Эпштейн» сидел лысый и очень загорелый еврей с невыносимо грустным взглядом. Он усадил меня напротив. Я сразу понял, что Линды нет и тут. Он начал расспрашивать, но мне не хотелось ничего ему говорить. Какой смысл? Усталость навалилась как-то вдруг, усталость, похожая на безразличие. Как это называется — апатия? Я сидел и царапал край стола, там отклеилась фанеровка и виднелись прессованные опилки. Стол, на вид такой деревянный, был сделан из прессованного мусора. Эпштейн ушел и вернулся с тарелкой. Внутри был суп красного цвета с желтыми глазками жира и точащей куриной костью.

— Харчо, — трагично глядя в суп, сказал еврей.

Голода я не ощущал, но выхлебал харчо за пять минут. Еврей наблюдал за мной с таким лицом, точно я совершал харакири. Стало жарко, меня развезло — так бывает, если несколько раз глубоко затянуться сигаретой. Я тайком вытер руки о штаны и начал рассказывать. Рассказал про мать, про отца — точнее, про его абсолютное отсутствие, про пожар в замке. Потом про Линду. Оказывается, в моей памяти застряли мельчайшие подробности — все ее слова и запахи, цвет неба и шершавая нежность солдатского одеяла. Вспомнил и про стаи птиц, что носились над нами, почти касаясь крыльями наших голых тел. Мне совсем не было стыдно или неловко говорить о том, чему я научился. Как она, выставив острый язык, показывала, что им там нужно делать. Рассказал я и про сон, про ее последние слова.

Еврей нахмурился еще сильнее. Поглаживая полированную, как морской камень, голову, он мрачно глядел исподлобья. Смуглый, точно индус, он напоминал арабского колдуна или джинна, которые вылетают из бутылки. Ему не хватало седой бороды, ну и персидского халата, разумеется. Я был уверен, что он уже вызвал милицию и за мной приедут с минуты на минуту. Но на это мне было тоже наплевать.

— На юге отдыхали? — зачем-то спросил я.

— В Гагре. Санаторий, — он достал из металлического портсигара тонкую сигарету с золотым ободком на конце. — Питание трехразовое и свой пляж. Увы, галька.

Он скорбно покачал головой и щелкнул зажигалкой. Ко мне поплыл завиток дыма, в жизни не предполагал, что табак может пахнуть как карамельные конфеты. Еврей затаился и медленно произнес:

— А иногда к реке спускались дети, пытаясь разглядеть сквозь толщу вод сокровища — и волны выносили диковинные камни и монеты.

— Гейне? — наугад спросил я.

Милиция приехала через четверть часа. За эти пятнадцать минут Эпштейн успел мне сказать, что Линду я не найду. Но буду искать. Иногда находить в других обличьях. Разочаровываться, отчаиваться и снова искать.

— Что это значит? — я не понял ничего. — Какой-то бред.

— Ну да, бред, — хмуро согласился еврей. — Жизнь называется.

И добавил:

— Но главное — беги из Йенспилса!

* * *

Проклятый Эпштейн, как он все угадал! Именно оттуда, с той крыши, прошла трещина сквозь всю мою жизнь. Разумеется, из Йенспилса я удрал при первой возможности, в тот самый день, как получил паспорт. Сел на автобус, через два часа был в Риге. Устроился на консервный завод — шпроты ели? — я их коптил. Начал писать юморески в заводскую малотиражку — еженедельную газетенку (выходила по четвергам) с двусмысленным названием «Балтийский консерватор». Неожиданно стал местной знаменитостью — цехового масштаба.

Редакция занимала три стола в углу заводской библиотеки, я как-то мимоходом записался и за полтора года перечитал почти все. От Аксакова до японской поэзии. Тогда я наткнулся на дневники Джакомо Казановы, толстый том в малиновом переплете стал моей настольной книгой. Она и сейчас со мной, потертая, с пожелтевшими страницами и фиолетовым штампом «Библиотека рыбокомбината №2» на титульном листе. Каюсь — украл. Не мог не украсть. «Моя жизнь» Казановы — одна из самых увлекательных книг на свете. Но не эротические похождения, и не дуэльные поединки, и не путешествия — Казанова добрался аж до Петербурга, — и даже не знаменитый венецианский побег из инквизиторской тюрьмы, — нет, меня поразила житейская мудрость итальянца. На нечто похожее, но в примитивном, фастфудном варианте я наткнулся позднее у Дейла Карнеги. Впрочем, сравнивать Казанову с Карнеги — это все равно что вешать в одном зале Леонардо и Кукрыниксов.

В Риге поначалу я обитал в общежитии, делил каморку с двумя крепко пьющими битьюгами из цеха готовой продукции. Потом перебрался к Юлии Борисовне, библиотекарше. От нее к главреду нашего «Консерватора» Машке Гамус. Она училась на вечернем отделении рижского журфака и была похожа на крепкую греческую рабыню-танцовщицу с жесткими смоляными кудряшками.

Ни та, ни другая даже отдаленно не напоминали мою восхитительную рыжую Линду. Юлия Борисовна, близорукая и стеснительная, здорово разбиралась в литературе, особенно скандинавской, а с Машкой мы были просто друзьями. Ну не совсем просто, но дружба в наших отношениях определенно стояла на первом месте. И когда мне стали приходить повестки из военкомата, именно Машка спасла меня от трех лет флотской службы.

Мы поженились (в значительной мере — фиктивно) и эмигрировали в Израиль. В Тель-Авиве оказалось жарко и влажно, как в Сочи. Так, по крайней мере, утвер-

ждала Машка, которая все детство отдыхала с родителями в «Жемчужине». Мы переехали к Мертвому морю, где работали на томатных плантациях. Потом всю зиму упаковывали апельсины. Жили в фанерном бараке и по ночам вместе учили английский. К концу смены перед глазами плыли рыжие пятна. Наши пальцы, кожа, волосы — все насквозь провоняло едким апельсиновым духом, который мне мерещился даже год спустя в промозглом Бруклине.

В Америке мы расстались. Машку полюбил развеселый негр-саксофонист, мускулистый гигант цвета зрелого баклажана, которого застрелили через пару лет во время гастролей где-то на юге, кажется, в Теннесси. К тому времени я жил с Мариной, русской художницей из Ист-Виллидж, бывшей москвичкой с зелеными волосами и кельтскими татуировками по всему телу. Живопись ее напоминали картинки из учебника биологии — пестрые бактерии под микроскопом. Вместе мы придумывали картинам названия, типа «Неприятный разговор», «Где ты была вчера?», «На редкость убедительная имитация оргазма». Денег не хватало, по ночам я подрабатывал сторожем в подземном гараже рядом с Медисон-сквер. Платили гроши, но зато меня никто не дергал, и я спокойно мог писать всю ночь напролет. Да, я продолжал свои литературные упражнения. Амбиции таяли, писательство постепенно превратилось в психотерапию.

Как-то душевной июльской ночью тройка коренастых латиноамериканцев — кажется, это были пуэрториканцы — пробралась в гараж. Угрожая кривым тесаком — мачете — и бейсбольной битой, они вытащили меня из стеклянной будки и заперли в багажнике одной из легковушек. Я слышал, как латиноамериканцы крушили машины, били стекла и колотили в жезь. Фары лопались с азартом новогодних петард.

В багажнике не хватало кислорода, под утро я потерял сознание. Меня нашли почти случайно, около полудня. В госпитале Святой Троицы, что на Ист-Ривер-драйв, в палату, которую я делил с покалеченным крановщиком, по иронии упавшим в шахту лифта, приходили полицейские. Показывали наброски — фотороботы разнообразных бандитов. Рожи выглядели одинаково страшно, точно иллюстрации к книжке Ламброзо. Я никого не смог узнать, но вспомнил, что на шее одного из мазуриков были выколоты слово «Desperado» и маленькая ласточка.

Полицейские приободрились, младший детектив Пин (имя и должность я прочитал на пластиковой бирке, приколотой к груди) показала мне несколько фотографий. Бандита звали красиво, совсем как писателя Сервантеса, — Мигель. Фамилию, не менее звонкую, я не запомнил. Он оказался не просто шпаной, а погром в гараже не простым хулиганством. Мигель был правой рукой Хорхе Лоредо, банда которого безобразничала в районе от Юнион-сквер до Сорок Первой улицы. Занимались стандартным промыслом: рэкет, наркотики, контроль проституции. Подозревали Лоредо и в исполнении заказных убийств, в том числе и в резне на крыше ресторана «Хассельблат».

Терять мне особо было нечего, ну, разумеется, кроме жизни, и я дал себя уговорить выступить свидетелем обвинения. На программу по защите свидетелей рассчитывать не стоило, заманчивая идея стать неким Джоном Смитом где-нибудь в штате Висконсин умерла, не успев родиться. Полицейским — я видел — страстно хотелось взять за жабры этого Мигеля и его босса. Особенно жарко убеждала меня младший детектив Пин. Ее круглое лицо, все три дня бесстрастное, как китайская маска, неожиданно размягчилось и оживилось. Я равнодушен к очарованию восточных женщин, вернее, был равнодушен до этого момента.

Суд над бандитами стал сенсацией местного, нью-йоркского, калибра. Особенно после того, как в камере зарезали Мигеля. История стала напоминать третьесортный полицейский сериал, если не считать занятного факта, что Марина за время моей госпитализации успела сойтись с одноногим скульптором из Албании.

— Чего ты ожидал от белой бабы? Да к тому же с волосами цвета зеленки? — риторически поинтересовалась Пин и предложила мне перебраться на время к ней. За неполную неделю младшему детективу удалось кардинально изменить мое индифферентное отношение к восточным женщинам.

Суд подходил к финалу. Адвокаты бандитов, два высокомерных итальянца с напыженными прическами, сникли после того, как бухгалтер Хорхе Лоредо начал давать показания. Свидетеля привозили в бронированном автобусе, его охраняли пять полицейских, а в зале суда он выступал в хромированной клетке.

Пару раз у меня брал интервью Первый канал для утренних новостей. В телевизоре я выглядел вполне убедительно, а легкий русский акцент, как сказал оператор Стив, придавал репортажу экзотический колорит. Именно славянский говор помог мне заработать самые легкие деньги в моей жизни: телевизионщики стали приглашать меня дублировать русскоязычные репортажи. Чаще всего это были отрывки из новостей русского телевидения, иногда интервью. Человек начинал говорить по-русски, его приглушали, и тут вступал я со своим аутентичным акцентом. Тексты я читал по бумажке. Переводила их бывшая пианистка из Харькова, неряшливая толстая женщина со страшной фамилией Жмур. Даже в ее английских фразах слышались мне местечковые обороты. Жмур непрерывно ела, она приносила из дома какую-то пищу в пластиковых судках. Торопливыми хомячьими лапками она ела прямо из них, из этих омерзительных посудин. Ее жирный бюст был постоянно в крошках еды и пятнах жира. Да и переводила она примерно так же — торопливо и неряшливо, упуская смысл, добавляя отсебятину, зачастую игнорируя целые предложения. Слово «хамство» в ее английском варианте превращалось в «сексуальную распущенность с элементами генетической деградации».

Тайком я взялся редактировать Жмурову писанину. Пианистка учинила скандал, но поскольку в редакции по-русски понимали только мы двое, нам устроили независимую экспертизу. Случайным экспертом стала редактор из России Елена Щукина. Мы брали у нее интервью — в Нью-Йорке как раз проходила книжная ярмарка, и наш канал делал репортаж о русских литературных новинках. В результате пианистку уволили, а меня зачислили в штат на должность переводчика. К тому же мне удалось всучить Щукиной несколько рукописей — сборник рассказов и роман. Через год в Москве вышла моя первая книга «Все певчие птицы». Впрочем, какая разница, что он там изобразил.

* * *

Мои отношения с правдой весьма запутанны — вроде отношений между супругами, которые несколько лет жили вместе, потом развелись, а после сошлись снова. И не просто сошлись, а поженились еще раз. Наверняка у тебя тоже есть в знакомых такие.

С правдой нужно обращаться осторожно. Как с опасной бритвой — сравнение банально, к тому же такими бритвами никто уже давно не пользуется, но от этого бритвенная сталь не становится менее острой. Может, именно острота стали и пугает нынешних мужчин; они ведь такие нежные, такие ласковые — ну просто лапочки.

Ради правды я готов пожертвовать многим — даже правдой. Она, моя правда, похожа на разбитое зеркало, где отражение мира истинно, но расчленено на фрагменты, вроде осыпавшейся на пол мозаики — вот ультрамариновый кусок неизвестного моря, вот чей-то глаз — карий и, скорее всего, девичий. Ага, а вот черный, как сажа, осколок безлунной ночи, а может, это — тайный грех, и вполне возможно, что именно твой. Или мой.

Хочу сделать тебе подарок, предупрежу сразу: я его украл. Существуют вещи, без которых человеку живется худо — знаю по себе; и мой подарок — одна из таких жизненно важных вещей. Это — осколок давнишнего лета, фрагмент из девяноста дней, закрученных лентой Мёбиуса и потому бесконечных. Там нет начала и нет конца, смотреть это кино можно с любого эпизода. От этого удовольствие не становится меньше.

Это лето — особенное, это последнее лето твоего детства. Тут краски яркие, сочные и живые, это тебе не художочная акварель — это живопись. Кадмий, стронций и лазурь. Никаких охр и умбр, выбрось свой коричневый марс к чертям собачьим. Цвет открытый, цвет дышит. Палитра — как у чокнутого Ван Гога, а не у какого-нибудь прусского меланхолика вроде Фридриха.

Это лето громогласное, никаких шепотков, оно орет во все глотку. Горланит, вроде четверки деревенских девок, румяных, подвыпивших, которым сам черт не брат. Шагают, взявшись за руки по полевой траве, по василькам. Отчаянно поют, красиво, но слов не разобрать. Похоже, про любовь.

А как оно пахнет, то лето! Никогда больше не будет такого духа у печенной на костре картошки, натыренной с соседских огородов. А уха на берегу закатного озера — вот это аромат! Как бы ты ни стал богат и знаменит, ни один ресторан мира не сможет предложить такого божественного яства из уклеек и пескарей. Не забудь и про кислую оскомину от яблок из колхозного сада, яблоки — чуть крупнее гороха, зеленые — вырви глаз, но добытые с риском для жизни и потому вкусней всех «джонотанов» на свете.

Оно, это лето, набито под завязку теплым ветром, что пахнет скошенной травой, гомоном утренних дроздов и звоном полуденных стрекоз, узорами бабочек, щекотным бегом божьей коровки по загорелой руке, брызгами до небес от прыжка с ивы — ведь она так склонилась над рекой специально для тебя. Раз-два-три! — и ты летишь вниз с невероятной выси, летишь почти вечно. И футбол до белых кругов в глазах, до потери сознания, когда после игры ты просто падаешь в траву, падаешь навзничь и раскинув руки, точно солдат, сраженный пулей снайпера. И гонки на великах сквозь лес — тропа виляет, сосновые корни питонами переползают твой путь, но ты мчишь со скоростью света. Ты — болид, метеор, кеды развязались, и шнурки летят за тобой, как след от неистовой кометы. Вот только жаль, что нет представителей из Книги Гиннеса, чтоб зарегистрировать новый мировой рекорд.

У тебя два друга, в их жилах течет кровь гордых индейцев, они храбрее королевских мушкетеров и благородней рыцарей Круглого стола. Втроем вы каждый день спасаете человечество от страшных бед: вы останавливаете небывалое цунами и поток кипящей лавы из проснувшегося вулкана, разоружаете злодеев мирового масштаба, сражаетесь с пришельцами из других галактик и спасаете города от нашествия мертвецов. Фантазии ваши в миллион раз живей того, что взрослые именуют реальностью. Ваши крепости и замки, фрегаты и космические станции сотканы из тумана, но туман тем летом прочней кирпича, из которого построены школы, тюрьмы и казармы. Ваш союз, разумеется, тайный, туда не принимают не только плаксивых девчонок, но и вообще никого. Ну, может, за исключением Виннету или Робина Гуда. Тайные знаки союза выжжены солнцем на груди — это молния, звезда и стрела. На твоей груди — молния. Тот зигзаг ты аккуратно вырезал из пластыря, а после терпеливо лежал под солнцем — весь день и почти не шевелясь. До сгоревшего живота и облупившегося носа.

Сосновый бор, и березовая роща, и река, и заброшенное кладбище на окраине за огородами — все принадлежит только вам. Суть вещей и смысл жизни постигаются опытным путем. Лес оказывается не суммой деревьев, а ловкой иллюзией, сплетен-

ной из изумрудных теней и солнечных пятен. И лесная тишина — сплошной обман, составленный из тысячи шорохов, шелестов и шепотов. На коре старой сосны можно разобрать магические символы, поняв их, ты станешь невидимкой или сможешь летать, как птица.

И когда костер превращается в груды рубинов, а фиолетовый лес неслышно подкрадывается вплотную и дышит холодом в спину, наступает время страшных историй. Упоительных до мурашек. Жутких, как заклинания колдуна, зловещих, как заговор шамана.

— Черная Рука идет по твоей улице, — могильный голос звучит тихо. — Черная Рука заходит в твой подъезд. Черная Рука поднимается по лестнице. Черная Рука перед твоей дверью...

И ты понимаешь, что нет сил закрыть замок, нет воли даже пошевелиться. Ты — жертвенный агнец, и спасения нет.

Это лето — особенное, это последнее лето детства. Ты даже не подозреваешь, что ждет тебя после. Там, дальше, в неотвратимо надвигающейся взрослой жизни. Ты просто об этом не думаешь, тебе невдомек, что у слов «смелость», «дружба», «честность» может быть очень горький привкус. И что мудрость — ей так гордятся взрослые — больше похожа на мешок с острыми камнями, который тебе придется тащить на своем горбу до самого конца. Ты еще не знаешь, каким тусклым может стать синий цвет и что зеленый с желтым — это не цвет июньского луга в одуванчиках, а окрас бортовой брони. Ты не понимаешь смысла слова «тоска», и тебе наплевать, почему уныние включено в список смертных грехов между прелюбодеянием и обжорством.

Это твое последнее лето, и поэтому запомни его как следует. В мелочах и деталях, со звуками и запахами. Впоследствии эта память тебе очень пригодится. Возможно, она даже спасет твою жизнь. Вернее, то, что ты вопреки здравому смыслу упрямо продолжаешь называть жизнью.